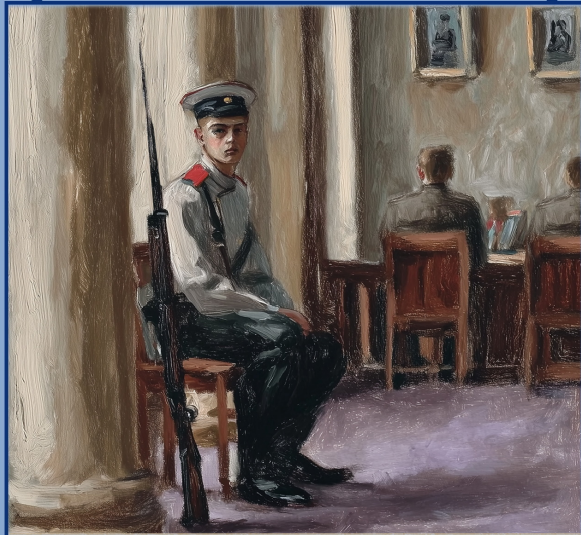


АЛЕКСАНДР
КУПРИН

✦
Кадеты
Юнкера
✦



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Александр Иванович Куприн

Кадеты. Юнкера

Серия «Русская классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73763773

Кадеты. Юнкера : [сборник] / Александр Куприн: АСТ; Москва; 2026

ISBN 978-5-17-184807-1

Аннотация

Вошедшие в данное издание повесть «Кадеты» («На переломе») и роман «Юнкера» объединяет автобиографическая тема – в молодости Александр Куприн провел десять лет в кадетском корпусе и военном училище и на всю жизнь сохранил в памяти воспоминания об этом времени.

Повесть «Кадеты» посвящена нелегкой судьбе доброго и доверчивого Миши Буланина, столкнувшегося с равнодушием учителей и издевательствами старших «товарищей». А в романе «Юнкера» главный герой Алексей Александров попадает в совсем иной мир, в котором вчерашним кадетам предстоит превратиться в образцовых офицеров.

Содержание

Кадеты	5
I	5
II	15
III	27
IV	45
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Александр Куприн

Кадеты. Юнкера

Серия «Русская классика» основана в 2008 году



© ООО «Издательство АСТ», 2026

Кадеты

I

*Первые впечатления. – Старички. – Прочная пуговица. –
Что такое маслянка. – Грузов. – Ночь*

– Эй, как тебя!.. Новичок... как твоя фамилия?

Буланин даже и не подозревал, что этот окрик относится к нему – до того он был оглушен новыми впечатлениями. Он только что пришел из приемной комнаты, где его мать упрашивала какого-то высокого военного в бакенбардах быть по-снисходительнее на первых порах к ее Мишеньке. «Уж вы, пожалуйста, с ним не по всей строгости, – говорила она, глядя в то же время бессознательно голову сына, – он у меня такой нежный... такой впечатлительный... он совсем на других мальчиков не похож». При этом у нее было такое жалкое, просящее, совсем непривычное для Буланина лицо, а высокий военный только кланялся и призывал шпорами. Повидимому, он торопился уйти, но, в силу давнишней привычки, продолжал выслушивать с равнодушным и вежливым терпением эти излияния материнской заботливости...

Две длинные рекреационные залы младшего возраста были полны народа. Новички робко жались вдоль стен и сидели

на подоконниках, одетые в самые разнообразные костюмы: тут были желтые, голубые и красные косоворотки-рубашки, матросские курточки с золотыми якорями, высокие, до колен, чулки и сапожки с лаковыми отворотами, пояса широкие кожаные и узкие позументные. Старички в серых коломнянковых блузах, подпоясанных ремнями, и таких же панталонах сразу бросались в глаза и своим однообразным костюмом и в особенности развязными манерами. Они ходили по двое и по трое по зале, обнявшись, заломив истрепанные кепи на затылок; некоторые перекликались через всю залу, иные с криком гонялись друг за другом. Густая пыль поднималась с натертого мастикой паркета. Можно было подумать, что вся эта топочащая, кричащая и свистящая толпа нарочно старалась кого-то ошеломить своей возней и гамом.

– Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?

Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его сонным, скучающим взглядом.

– Моя фамилия Буланин, – ответил новичок.

– Очень рад. А у тебя гостинцы есть, Буланин?

– Нет...

– Это, братец, скверно, что у тебя нет гостинцев. Пойдешь в отпуск – принеси.

– Хорошо, я принесу.

– И со мной поделись... Ладно?..

– Хорошо, с удовольствием.

Но старичок не уходил. Он, по-видимому, скучал и искал развлечения. Внимание его привлекли большие металлические пуговицы, пришитые в два ряда на курточке Буланина.

– Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие, – сказал он, трогая одну из них пальцем.

– О, это такие пуговицы... – суетливо обрадовался Буланин. – Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!

Старичок захватил между своими двумя грязными пальцами пуговицу и начал вертеть ее. Но пуговица не поддавалась. Курточка шилась дома, шилась на рост, в расчете нарядить в нее Васеньку, когда Мишеньке она станет мала. А пуговицы пришивала сама мать двойной провощенной ниткой.

Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал:

– Крепкая пуговица!.. Эй, Базутка, – крикнул он пробежавшему мимо маленькому белокурому, розовому толстяку, – посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!

Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа. Тотчас же установилась очередь. «Чур, я за Базуткой!» – крикнул чей-то голос, и тотчас же остальные загалдели: «А я за Миллером! А я за Утконосом! А я за тобой!» – и покамест один вертел пуговицу, другие уже протягивали руки и даже пощелкивали от нетерпения пальцами.

Но пуговица держалась по-прежнему крепко.

– Позовите Грузова! – сказал кто-то из толпы.

Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.

Пришел Грузов, малый лет пятнадцати, с желтым, испытанным, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года, – один из первых силачей возраста. Он, собственно, не шел, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сильным басом:

– Что у вас тут, ребята?

Ему рассказали, в чем дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился. Оглядев внимательно новичка с ног до головы, он буркнул:

– Фамилия?..

– Что? – спросил робко Буланин.

– Дурак, как твоя фамилия?

– Бу... Буланин...

– А почему же не Савраскин? Ишь ты, фамилия-то какая... лошадиная.

Кругом услужливо рассмеялись. Грузов продолжал:

– А ты, Буланка, пробовал когда-нибудь маслянки?

– Н... нет... не пробовал.

– Как? Ни разу не пробовал?

– Ни разу...

– Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?

И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом дробно костяшками всех остальных, сжатых в кулак.

– Вот тебе маслянka, и другая, и третья!.. Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, еще хочешь?

Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслянками накормил».

Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трех маслянок ему было так больно, что невольно слезы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал ее с ожесточением крутить. Однако несмотря на то, что он прилагал все большие и большие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своем месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он уперся одной рукой в грудь Буланина, а другой изо всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол. На этот раз никто не рассмеялся. Может быть, у каждого мелькнула в это мгновение мысль, что и он когда-то был новичком, в такой же курточке, сшитой дома любимыми руками.

Буланин поднялся на ноги. Как он ни старался удержаться, слезы все-таки же покатались из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке.

– Эх ты, рева-корова! – произнес Грузов презрительно, стукнул новичка ладонью по затылку, бросил ему пуговицу в лицо и ушел своей разгильдяйской походкой.

Скоро Буланин остался один. Он продолжал плакать. Кроме боли и незаслуженной обиды, какое-то странное, сложное чувство терзало его маленькое сердце – чувство, похожее на то, как будто бы он сам только что совершил какой-то нехороший, непоправимый, глупый поступок. Но в этом чувстве он покамест разобраться не мог.

Страшно медленно, скучно и тяжело, точно длинный сон, тянулся для Буланина этот первый день гимназической жизни. Были минуты, когда ему начинало казаться, что не пять или шесть часов, а по крайней мере полмесяца прошло с того грустного момента, как он вместе с матерью взбирался по широким каменным ступеням парадного крыльца и с трепетом вступил в огромные стеклянные двери, на которых медь блестела с холодной и внушительной яркостью...

Одинокий, точно забытый всем светом, мальчик рассматривал окружавшую его казенную обстановку. Две длинные залы – рекреационная и чайная (они разделялись аркой) – были выкрашены снизу до высоты человеческого роста коричневой масляной краской, а выше – розовой известкой. По левую сторону рекреационной залы тянулись окна, полузаделанные решетками, а по правую – стеклянные двери, ведущие в классы; простенки между дверьми и окнами были заняты раскрашенными картинами из отечественной ис-

тории и рисунками разных зверей, а в дальнем углу лампада теплилась перед огромным образом св. Александра Невского, к которому вели три обитые красным сукном ступеньки. Вокруг стен чайной залы стояли черные столы и скамейки; их сдвигали в один общий стол к чаю и завтраку. По стенам тоже висели картины, изображавшие геройские подвиги русских воинов, но висели настолько высоко, что, даже ставши на стол, нельзя было рассмотреть, что под ними подписано... Вдоль обеих зал, как раз посреди их, висел длинный ряд опускных ламп с абажурами и медными шарами для противовеса...

Наскучив бродить вдоль этих бесконечно длинных зал, Буланин вышел на плац – большую квадратную лужайку, окруженную с двух сторон валом, а с двух других – сплошной стеной желтой акации. На плацу старички играли в лапту, другие ходили обнявшись, третьи с вала бросали камни в зеленый от тины пруд, лежавший глаголем шагах в пятидесяти за линией валов; к пруду гимназистам ходить не позволялось, и чтобы следить за этим – на валу во время прогулки торчал дежурный дядька.

Все эти впечатления резкими, неизгладимыми чертами запали в память Буланина. Сколько раз потом, за все семь лет гимназической жизни, видел он и эти коричневые с розовым стены, и плац с чахлой травой, вытоптанной многочисленными ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную лестницу, – и так привык к ним, что они сделались как

бы частью его самого... Но впечатления первого дня все-таки не умирали в его душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед своими глазами тогдашний вид всех этих предметов – вид, совсем отличный от их настоящего вида, гораздо более яркий, свежий и как будто бы наивный.

Вечером Буланину, вместе с прочими новичками, дали в каменной кружке мутного сладкого чаю и половину французской булки. Но булка оказалась кислой на вкус, а чай отдавал рыбой. После чая дядька показал Буланину его кровать.

Спальня младшего возраста долго не могла угомониться. Старички в одних рубашках перебегали с кровати на кровать, слышался хохот, шум возни, звонкие удары ладонью по голому телу. Только через час стал затихать этот кавардак и умолк сердитый голос воспитателя, окликавшего шалунов по фамилиям.

Когда же шум совершенно прекратился, когда отовсюду послышалось глубокое дыхание спящих, прерываемое изредка сонным бредом, Буланину сделалось невыразимо тяжело. Все, что на время забылось им, что заволоклось новыми впечатлениями, – все это вдруг припомнилось ему с беспощадной ясностью: дом, сестры, брат, друг детских игр – кухаркин племянник Савка и, наконец, это дорогое, близкое лицо, которое сегодня в приемной казалось таким просящим. Тонкая, глубокая нежность и какая-то болезненная жалость к матери переполнили сердце Буланина. Ему при-

помнились все те случаи, когда он бывал с нею недостаточно нежен, непочтителен, порою даже груб. И ему представлялось, что если бы теперь, каким-нибудь волшебством, увиделся он с матерью, то он сумел бы собрать в своей душе такой запас любви, благодарности и ласки, что его хватило бы на многие и многие годы одиночества. В его разгоряченном, взволнованном и подавленном уме лицо матери представлялось таким бледным и болезненным, гимназия таким неуютным и суровым местом, а он сам таким несчастным заброшенным мальчиком, что Буланин, прижавшись крепко ртом к подушке, заплакал жгучими, отчаянными слезами, от которых вздрагивала его узкая железная кровать, а в горле стоял какой-то сухой колючий клубок... Он вспомнил также сегодняшнюю историю с пуговицей и покраснел, несмотря на темноту: «Бедная мама! Как старательно пришивала она эти пуговицы, откусывая концы нитки зубами. С какою гордостью во время примерки любовалась она этой курточкой, обдергивая ее со всех сторон...» Буланин почувствовал, что он совершил сегодня утром против нее нехороший, низкий и трусливый поступок, когда предлагал старичкам оторвать пуговицу.

Он плакал до тех пор, пока сон не охватил его своими широкими объятиями... Но и во сне Буланин долго еще вздыхал прерывисто и глубоко, как вздыхают после слез очень маленькие дети. Впрочем, не он один в эту ночь плакал, спрятавшись лицом в подушку, при тусклом свете висячих ламп

с контрабандурами.

II

Заря. – Умывалка. – Петух и его речь. – Учитель русского языка и его странности. – Четуха. – Одежда. – Цыпки

Тра-та-та, тра-та-та, та, та, та, та...

Буланин только что собирался с новенькой сетью и с верным Савкою идти на перепелов... Внезапно разбуженный этими пронзительными звуками, он испуганно вскочил на кровати и раскрыл глаза. Над самой его головой стоял огромный, рыжий, веснушчатый солдат и, приложив к губам блестящую медную трубу, весь красный от натуги, с раздутыми щеками и напряженной шеей, играл какой-то оглушительный и однообразный мотив.

Было шесть часов ненастного августовского утра. По стеклам сбегали зигзагами капли дождя. В окна виднелось хмурое серое небо и желтая, чахлая зелень акаций. Казалось, что однообразно резкие звуки трубы еще сильнее и неприятнее заставляют чувствовать холод и тоску этого утра.

В первые минуты Буланин никак не мог сообразить, где он и как мог он очутиться среди этой казарменной обстановки с длинной анфиладой розовых арок и с правильными рядами кроватей, на которых под серыми байковыми одеялами ежились спящие фигуры.

Потрубив добрых пять минут, солдат отвинтил у своей

трубы мундштук, вытряхнул из нее слюну и ушел.

Дрожа от холода, воспитанники бежали в умывалку, обвязавшись вокруг пояса полотенцем. Всю умывалку занимал длинный узкий ящик из красной меди с двадцатью подъемными стержнями снизу. Вокруг него уже толпились воспитанники, нетерпеливо дожидаясь очереди, толкаясь, фыркая и обливая друг друга. Все не выпались; старички были злы и ругались хриплыми, сонными голосами. Несколько раз, когда Буланин, улучив минутку, становился под кран, кто-нибудь сзади брал его за ворот рубашки и грубо отталкивал. Умыться ему удалось только в самой последней очереди.

После чая пришли воспитатели, разделили всех новичков на два отделения и тотчас же развели их по классам.

Во втором отделении, куда попал Буланин, было двое второгодников: Бринкен – длинный, худой остзеец с упрямыми водянистыми глазами и висячим немецким носом, и Сельский – маленький веселый гимназист, хорошенький, но немного кривоногий. Бринкен, едва войдя в класс, тотчас же объявил, что он занимает «камчатку». Новички нерешительно толпились вокруг парт.

Вскоре появился воспитатель. Его приход был возвещен Сельским, закричавшим: «Тс... Петух идет!..» Петухом оказался тот самый военный в баках, которого вчера видел Буланин в приемной; его звали Яков Яковлевич фон Шеппе. Это был очень чистенький, добродушный немец. От него всегда пахло немного табаком, немного одеколоном и еще тем осо-

бенным не неприятным запахом, который издают мебель и вещи в зажиточных немецких семействах. Заложив правую руку в задний карман сюртука, а левой перебирая цепочку, висящую вдоль борта, и в то же время то поднимаясь быстро на цыпочки, то опускаясь на каблуки, Петух сказал небольшую, но прочувствованную речь:

– Ну, так вот, господа... э... э... как бы сказать... я назначен вашим воспитателем. Да было бы вам известно, что я им и останусь все... весь... э... как бы сказать... все семь лет вашего пребывания в гимназии. Поэтому смею думать и надеяться, что на вас со стороны учителей или, как бы сказать... преподавателей – да, вот именно: преподавателей... не будет... э... не будет поступать неудовольствий и... как бы сказать... жалоб... Помните, что преподаватели суть те же ваши начальники и, кроме доброго... э... э... как бы сказать... кроме добра, вам ничего не желают...

Он помолчал немного и несколько раз подряд то поднимался, то опускался на цыпочках, точно собираясь улететь (его за эту привычку, вероятно, и прозвали Петухом), и продолжал:

– Да-с! Так-то-с. Нам с вами придется прожить вместе очень и очень долгое время... потому и постараемся... э... как бы сказать... не ссориться, не браниться, не драться-с.

Бринкен и Сельский первые поняли, что в этом фамильярно-ласковом месте речи надо засмеяться. Следом за ними захихикали и новички.

Бедный Петух вовсе не обладал красноречием. Кроме постоянных: «э...», слово-ериков и «как бы сказать», у него была несчастная привычка говорить рифмами и в одних и тех же случаях употреблять одни и те же выражения. И мальчишки, с их острой переимчивостью и наблюдательностью, очень быстро подхватили эти особенности Петуха. Бывало, по утрам, будя разоспавшихся воспитанников, Яков Яковлевич кричит: «Не копать, не валяться, не высиживать!», а целый хор из-за угла, зная заранее, какая реплика следует далее, орет, подражая его интонациям: «Кто там высиживает?»

Окончив свою речь, Петух сделал всему отделению переключку. Каждый раз, встретив более или менее громкую фамилию, он, подпрыгивая, по своему обыкновению, спрашивал:

– А вы не родственник такому-то?

И, получив большею частью отрицательный ответ, качал головою сверху вниз и говорил мягким голосом:

– Прекрасно-с. Садитесь-с.

Затем он разместил всех воспитанников на парты по двое, причем извлек Бринкена из «камчатки» на первую скамейку, и ушел из класса.

– Как тебя зовут? – спросил Буланин своего соседа, толстощекого румяного мальчика в черной куртке с желтыми пуговицами.

– Кривцов. А тебя как?

– Меня – Буланин. Хочешь, будем дружить?

– Давай. У тебя родные где живут?

– В Москве. А у тебя?

– В Жиздре. У нас там сад большой, и озеро, и лебеди плавают.

При этом воспоминании Кривцов не мог удержать глубокого, прерывистого вздоха.

– А у меня есть собственная верховая лошадь. Муцик зовут. Страсть какая быстрая, точно иноходец. И два кролика, ручные совсем, капусту прямо из рук берут.

Петух опять пришел, на этот раз в сопровождении дядьки, несшего на плечах большую корзину с книгами, тетрадями, перьями, карандашами, резинками и линейками. Книги уже были давно знакомы Буланину: задачник Евтушевского, французский учебник Марго, хрестоматия Поливанова и священная история Смирнова. Все эти источники премудрости оказались сильно истрепанными руками предшествующих поколений, черпавших из них свои знания. Под зачеркнутыми фамилиями прежних владельцев на холщовых переплетах писались новые фамилии, которые, в свою очередь, давали место новейшим. На многих книгах красовались бессмертные изречения вроде: «Читаю книгу, а вижу фигу», или:

Сия книга принадлежит, Никуда не убежит, Кто возьмет ее без спросу, Тот останется без носу, —

или наконец: «Если ты хочешь узнать мою фамилию, см.

стр. 45». На 45 странице стоит: «См. стр. 118», а 118 страница своим чередом отсылает любопытного на дальнейшие поиски, пока он не приходит к той же самой странице, откуда начал искать незнакомца. Попадались также нередко обидные и насмешливые выражения по адресу учителя того предмета, который трактовался учебником.

– Берегите ваши руководства, – сказал Петух, когда задача кончилась, – не делайте на них различных... э... как бы сказать... различных неприличных надписей... За утерянный или попорченный учебник будет наложено взыскание-с и будут удержаны... э... как бы сказать... деньги-с... с виновного-с... Затем назначаю старшим в классе Сельского. Он – второгодник и все знает-с, всякие... как бы сказать... порядки-с и распорядки-с... Если вам будет что-либо непонятно или... как бы сказать... желательно-с, извольте обращаться ко мне через него. Затем-с...

Кто-то отворил двери. Петух быстро обернулся и прибавил полусшепотом:

– А вот и преподаватель русского языка.

Вошел с классным журналом под мышкой длинноволосый блондин иконописного облика, в поношенном сюртуке, такой высокий и худой, что ему приходилось невольно горбиться. Сельский закричал: «Встать! Смирно!» – и подошел к нему с рапортом: «Господин преподаватель, во втором отделении первого класса Н-ской военной гимназии все обстоит благополучно. По списку воспитанников тридцать, один в

лазарете, налицо двадцать девять». Преподаватель (его звали Иваном Архиповичем Сахаровым) выслушал это, изобразивши всей своей нескладной фигурой вопросительный знак над маленьким Сельским, который поневоле должен был задирать голову кверху, чтобы видеть лицо Сахарова. Затем Иван Архипович мотнул головой на образ и буркнул: «Молитву!» Сельский совершенно тем же тоном, каким сейчас рапортовал, прочел «Преплагий Господи».

– Садитесь! – приказал Иван Архипович и сам влез на кафедру (нечто вроде ящика без задней стенки, поставленного на широкую платформу. Сзади ящика помещался стул для преподавателя, ног которого, таким образом, класс не видел).

Поведение Ивана Архиповича показалось Буланину более чем странным. Прежде всего он с треском развернул журнал, хлопнул по нему ладонью и, выпятив вперед нижнюю челюсть, сделал на класс страшные глаза. «Точь-в-точь, – подумалось Буланину, – как великан в сапогах-скороходах, прежде чем съесть одного за другим всех мальчиков». Потом он широко расставил локти на кафедре, подпер подбородок ладонями и, запустив ногти в рот, начал нараспев и сквозь зубы:

– Ну-с, орлы заморские... ученички развращенные... Что вы знаете? (Иван Архипович неожиданно качнулся вперед и икнул.) Ничего вы не знаете. Ррровно ничего. И з-знать ничего не будете. Вы дома небось только в бабки играли да

голубей гоняли по крышам? И прекра-а-асно! Чуд-десно! И занимались бы этим делом до сих пор. Да и зачем вам грамоте-то знать? Не дворянское дело-с. Учитесь не учитесь, а все равно корову через «ѣ» изображать будете, потому... потому... (Иван Архипович опять качнулся, на этот раз сильнее прежнего, но опять справился с собою), потому что ваше призвание быть вечными Ми-тро-фа-ну-шка-ми.

Поговорив в этом духе минут пять, а может быть, и более того, Сахаров вдруг закрыл глаза и потерял равновесие. Локти его расскользнулись, голова беспомощно и грузно упала на раскрытый журнал, и в классе явственно раздался храп. Преподаватель был безнадежно пьян.

Это случалось с ним почти каждый день. Раза два или три в месяц он, правда, являлся трезвым, но эти дни считались роковыми в гимназической¹ среде: тогда журнал украшался бесчисленными «колами» и нулями. Сам Сахаров бывал мрачен и молчалив и за всякое резкое движение высылал из класса. В каждом его слове, в каждой гримасе его опухшего и красного от водки лица чувствовалась глубокая, острая, отчаянная ненависть и к учительскому делу, и к тому вертограду, который он должен был насаждать.

Зато воспитанники безнаказанно пользовались теми минутами, когда тяжелый сон похмелья овладевал больной го-

¹ Конечно, в настоящее время нравы кадетских корпусов переменялись. Наш рассказ относится к той переходной эпохе, когда военные гимназии реформировались в корпуса. – *Примеч. авт.*

ловой Ивана Архиповича. Тотчас же кто-нибудь из «слабеньких» посылался «стеречь» у дверей, наиболее предприимчивые забирались на кафедру, переставляли в журнале баллы и ставили по своему усмотрению новые, вытаскивали из кармана преподавателя часы и рассматривали их, мазали ему мелом спину. Впрочем, к чести их надо сказать, едва только «сторож», заслышав издали тяжелые шаги инспектора, пускал условное: «Тс... Толкач идет!..» – немедленно десятки услужливых, хотя и бесцеремонных рук принимались тормозить Ивана Архиповича.

Проспав довольно долгое время, Сахаров вдруг, точно от внезапного толчка, поднял голову, обвел класс мутными глазами и строго проговорил:

– Откройте ваши хрестомѣтии на тридцать шестой странице.

Все открыли книги с преувеличенным шумом. Сахаров указал кивком головы на соседа Буланина.

– Вот вы... господинчик... как вас? Да, да, вы самый... – прибавил он и замотал головой, видя, что Кривцов нерешительно приподнимается, ища вокруг глазами, – тот, что с желтыми пуговицами и с бородавочкой... Как ваше заглавие? Что-с? Ничего не слышу. Да встаньте же, когда с вами говорят. Заглавие ваше как, я спрашиваю?

– Фамилию говори, – шепнул сзади Сельский.

– Кривцов.

– Так и запишем. Что у вас там изображено на тридцать

шестой странице, милостивый мой государь, господин Кривцов?

– «Чиж и голубь», – прочел Кривцов.

– Возглашайте-с.

Почти все преподаватели отличались какими-нибудь странностями, к которым Буланин не только привык очень быстро, но даже научился их копировать, так как всегда отличался наблюдательностью и бойкостью. Покамест в продолжение первых дней он разбирался в своих впечатлениях, два человека поневоле стали центральными фигурами в его мировоззрении: Яков Яковлевич фон Шеппе – иначе Петух – и отделенный дядька Томаш Циотух, родом литвин, которого воспитанники называли просто Четухой. Четуха служил, кажется, чуть ли не с основания прежнего кадетского корпуса, но на вид казался еще очень бодрым и красивым мужчиной, с веселыми черными глазами и черными кудрявыми волосами. Он свободно втаскивал каждое утро на третий этаж громадную вязанку дров, и в глазах гимназистов его сила превосходила всякие человеческие пределы. Он носил, как и все дядьки, куртку из толстого серого сукна, сшитую на манер рубахи. Буланин долгое время думал, что эти куртки, от которых всегда пахло щами, махоркой и какой-то едкой кислотой, выделяются из конского волоса, и потому мысленно называл их власяницами. Изредка Четуха напивался. Тогда он шел в спальню, забирался под одну из самых дальних кроватей (всем воспитанникам было известно,

что он страшно боялся своей жены, которая его била) и спал там часа три, подложив под голову полено. Впрочем, Четуха не был лишен своеобразного добродушия старого солдата. Стоило послушать, как он, будя по утрам спящих воспитанников и делая вид, будто сдергивает одеяло, приговаривал с напускной угрозой: «Уставайтя! Уставайтя!.. А то я ваши булки зьем! Уставайтя!»

Первые дни Яков Яковлевич и Четуха только и делали, что «пригоняли» новичкам одежду. Пригонка оказалась делом очень простым: построили весь младший возраст по росту, дали каждому воспитаннику номер, начиная с правого фланга до левого, а потом одели в прошлогоднее платье того же номера. Таким образом, Буланину достался очень широкий пиджак, достигавший ему чуть ли не до колен, и необыкновенно короткие панталоны.

В буднее время, осенью и зимой, гимназисты носили черные суконные курточки (они назывались пиджаками), без поясов, с синими погонами, восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротниках. Праздничные мундиры носились с кожаными лакированными поясами и отличались от пиджаков золотыми галунами на петлицах и рукавах. Прослужив свой срок, мундир переделывался на пиджак и в таком виде служил уже до нетления. Шинели с несколько укороченными полами выдавались гимназистам для ежедневного употребления под именем тужурок, или «дежурок», как их называл Четуха. В общем в обыкно-

венное время младшие воспитанники имели вид чрезвычайно растерзанный и грязный, и нельзя сказать, чтобы начальство принимало против этого решительные меры. Зимой почти у всех «малышей» образовались на руках «цыпки», то есть кожа на наружной стороне кисти шершавела, лупилась и давала трещины, которые в скором времени сливались в одну общую грязную рану. Чесотка тоже была явлением нередким. Против этих болезней, как против всех остальных, принималось одно универсальное средство – касторовое масло.

III

Суббота. – Волшебный фонарь. – Бринкен торгуется. – Мена. – Покупка. – Козел. – Дальнейшая история фонаря. – Отпуск

С поступления Буланина в гимназию прошло уже шесть дней. Настала суббота. Этого дня Буланин дожидался с нетерпением, потому что по субботам, после уроков, воспитанники отпускались домой до восьми с половиной часов вечера воскресенья. Показать дома в мундире с золотыми галунами и в кепи, надетом набекрень, отдавать на улице честь офицерам и видеть, как они в ответ, точно знакомому, будут прикладывать руку к козырьку, вызвать удивленно-почтительные взгляды сестер и младшего брата – все эти удовольствия казались такими заманчивыми, что предвкушение их даже несколько стусевывало, оттирало на задний план предстоящее свидание с матерью.

«А вдруг мама не приедет за мной? – беспокоино, в сотый раз, спрашивал сам себя Буланин. – Может быть, она не знает, что нас распускают по субботам? Или вдруг ей помешает что-нибудь? Пусть уж тогда бы прислала горничную Глашу. Оно, правда, неловко как-то воспитаннику военной гимназии ехать по улице с горничной, ну, да что уж делать, если без провожатого нельзя...»

Первый урок в субботу был Закон Божий, но батюшка еще не приходил.

В классе стоял густой, протяжный, неумолкающий гул, напоминавший жужжание пчелиного роя. Тридцать молодых глоток одновременно пело, смеялось, читало вслух, разговаривало...

Вдруг, покрывая все голоса, в дверях раздался сиплый окрик:

– Эй, малыши! Продаю волшебный фонарь! Совсем новый! Кто хочет купить? А? Продается по случаю очень дешево! Зам-мечательная парижская вещь!

Это предложение сделал Грузов, вошедший в класс с небольшим ящичком в руках. Все сразу затихли и повернули к нему головы. Грузов вертел ящик перед глазами сидевших в первом ряду и продолжал кричать тоном аукциониста:

– Ну, кто же хочет, ребята? По случаю, по случаю... Ей-богу, если бы не нужны были деньги, не продал бы. А то весь табак вышел, не на что купить нового. Волшебный фонарь с лампочкой и с двенадцатью зам-мечательными картинками... Новый стоил восемь рублей... Ну? Кто же покупает, братцы?

Долговязый Бринкен поднялся с своего места и потянулся к фонарю:

– Покажи-ка...

– Чего покажи? Смотри из рук.

– Ну хоть из рук... а то в ящике-то не видно... Может

быть, что-нибудь сломано...

Грузов снял крышку. Бринкен стал осматривать фонарь настолько внимательно, насколько это ему позволяли руки Грузова, крепко державшие ящик.

– Трубка-то... треснула, – заметил немец деловитым тоном.

– Треснула, треснула! Много ты понимаешь, немец, перец, колбаса, купил лошадь без хвоста. Просто распаялась чуть-чуть по шву. Отдай слесарю – за пяточок поправит.

Бринкен заботливо постучал грязным ногтем по жестяной стенке фонаря и спросил:

– А сколько?

– Три.

– Рубля?

– А ты, может быть, думал – копейки? Ишь, ловкий, колбасник!

– Н-нет, я не думал... я так просто... Больно дорого. Давай лучше меняться. Хочешь?

Мена вообще была актом весьма распространенным в гимназической среде, особенно в младших классах.

Менялись вещами, книжками, гостинцами, причем относительная стоимость предметов мены определялась по-любовно обеими сторонами. Нередко меновыми единицами служили металлические пуговицы, но не простые, гимназические, а тяжелые, накладные – буховские, первого и второго сорта, причем пуговицы с орлами ценились вдвое, или

стальные перышки (и те и другие употреблялись для игры). Также меняли вещи – кроме казенных – на булки, на котлеты и на третье блюдо обеда. Между прочим, мена требовала соблюдения некоторых «обрядностей». Нужно было, чтобы договаривающиеся стороны непременно взялись за руки, а третье специально для этого приглашенное лицо разнимало их, произнося обычную фразу, освященную многими десятилетиями:

Чур, мена Без размена, Чур, с разъемщика не брать, А разъемщику давать.

Своеобразный опыт показывал, что присутствие при мене одних простых свидетелей иногда оказывалось недостаточным, если при ней не было разъемщика. Недобросовестный всегда мог отговориться:

– А нас разнимал кто-нибудь?

– Нет, но были свидетели, – возражал другой менявшийся.

– Свидетели не считаются, – отрезывал первый, и его довод совершенно исчерпывал вопрос – дальше уже следовала рукопашная схватка.

– Ну что ж? Будешь меняться? – приставал Бринкен.

Пальцы Грузова сложились в символический знак и приблизились вплоть к длинному носу остзейца.

– На-ка-сь, выкуси.

– Я тебе дам банку килек и перочинный ножичек, – торговался Бринкен, отворачивая в то же время голову от грузовского кукиша и отводя его от себя рукой.

– Проваливай!

– И три десятка пуговиц. Все накладные и из них четырнадцать гербовых.

– А ну тебя к черту, перец. Отвяжись.

– И шесть булок.

– Пошел к черту...

– Утренних булок. Ведь не вечерних, а утренних.

– Полезь еще, пока я тебе в морду не дал! – вдруг свирепо обернулся к нему Грузов. – Брысь, колбасник!.. Ну, молодежь, кто покупает? За два с полтиной отдаю, так и быть...

Новички молчали, но по их горящим глазам видно было, каким высоким счастьем казалось им обладание редкой игрушкой.

– Ну, последнее слово, ребята, – два целковых! – крикнул Грузов, подымая высоко над головой футляр и вертя им. – Самому дороже... Ну – раз! два!..

В это время его глаза встретились с напряженным взглядом Буланина.

– А-а! Буланка! – кивнул ему головой Грузов. – Покупай фонарь, Буланушка.

Буланин смутился:

– Я бы с радостью... только...

– Что только? Денег нет? Да я сейчас и не требую. В отпуск пойдешь?

– Да.

– Вот и возьми у родных. Эки деньги – два рубля! Небось

два-то рубля тебе дадут? А? Дадут два рубля, Буланка?

Буланин и сам не мог бы сказать, дадут ему дома два рубля или нет. Но соблазн приобрести фонарь был так велик, что ему показалось, будто достать два рубля самое пустое дело. «Ну, у сестер добуду, что ли, если мама не даст... Вывернусь как-нибудь», – успокаивал он последние сомнения.

– Дома дадут. Дома мне непременно дадут, только...

– Ну вот и покупай, и прекрасно, – сунул ему Грузов в руки ящик. – Твой фонарь, владей, Фаддей, моей Маланьей! Дешево отдаю, да уж очень ты мне, Буланка, понравился. А вы, братцы, – обратился он к новичкам, – вы, братцы, смотрите, будьте свидетелями, что Буланка мне должен два рубля. Ну, чур, мена без размена... Слышите? Ты, гляди, не вздумай надуть, – нагнулся он внушительно к Буланину. – Отдашь деньги-то?

– Ну вот. Конечно отдам.

– Забожись.

– Вот, ей-богу, отдам, честное слово...

– Ладно... А то у нас знаешь как!..

И, поднеся к лицу Буланина кулак, Грузов повернулся на каблуках и выплыл из отделения своей шатающейся походкой.

Нового хозяина фонаря тотчас же окружили товарищи. Со всех сторон потянулись жадные руки.

– А ну-ка покажи фонарь, Буланка. Чего же ты его прячешь? Буланушка, дай посмотреть.

Фонарь стал переходить из рук в руки, вызывая то завистливые, то деловые, то восторженные, то критические замечания. В общем, однако, игрушка большинству очень понравилась: она обещала в будущем всему отделению много забавных минут. Но сам Буланин, следивший ревнивыми глазами за фонарем, находившимся в чужих руках, в то же время не ощущал в себе ожидаемой радости, – в руках Грузова, издали, фонарь казался гораздо заманчивее и красивее.

– Ты смотри, Буланка, – посоветовал Сельский, разглядывая на свет картинку, нарисованную на стеклянной пластинке, – смотри, деньги-то непременно принеси.

– Конечно, конечно, принесу.

– Смотри же... а то...

– А то что? – спросил шепотом Буланин, и его сердце сжалось от неясного предчувствия.

– Бить будет, – сказал Сельский также шепотом. – Ты его не знаешь... Он отчаянный. Если не надеешься достать денег, лучше уж поди к нему в переменку и отдай назад фонарь.

– Нет, нет... зачем же? Я отдам... Что ж... – залепетал Буланин упавшим голосом.

После слов Сельского он сразу и окончательно охладел к своей покупке.

«И зачем мне было покупать этот фонарь? – думал он с бесполезной досадой. – Ну, пересмотрю я все картинки, а дальше что же? Во второй раз даже и неинтересно будет. Да и даст ли мама два рубля? Два рубля! Целых два рубля! А

вдруг она рассердится, да и скажет: “Знать ничего не знаю, разделяйся сам, как хочешь”. Эх, дернуло же меня сунуться!»

Пришел батюшка. В обоих отделениях первого класса учил не свой, гимназический, священник, а из посторонней церкви, по фамилии Пещерский. А настоятелем гимназической церкви был отец Михаил, маленький, седенький, голубоглазый старичок, похожий на Николая-угодника, человек отменной доброты и душевной нежности, заступник и ходатай перед директором за провинившихся – почти единственное лицо, о котором Буланин вынес из стен корпуса светлое воспоминание.

Пещерский, собственно, даже и не был священником, а только дьяконом, но его все равно величали «батюшкой». Это был гигант, весь ушедший в гриву черных волос и в густую, огромную бородищу, причем капризная судьба, точно насмех, дала ему вместо крепкого баса тоненький, гнусавый и дребезжащий дискант. Вокруг его темных глаз – больших, красивых, влажных и бессмысленных – всегда лежали масляничные коричневые круги, что придавало его лицу подозрительный оттенок не то елейности, не то разврата. Про силу Пещерского в гимназии ходило множество легенд. Говорили, что очень часто массивные дубовые стулья не выдерживали тяжести его огромного тела и ломались под ним. Рассказывали также, что в старших классах, говоря о различных дарах, ниспосылаемых небом человеку, он прибавлял: «Вни-

майте, юноши, с усердием слову Божию, и вы будете так же щедро взысканы, как и я». И будто бы при этих словах Пещерский вытаскивал из кармана медный пятак и тут же, на глазах изумленной аудитории, свертывал его в трубочку.

Но чем уж действительно его Господь не взыскал, так это красноречием. Объяснял он свой предмет медленно, тягуче, скучно, с бесконечными «гм» и «эге», с повторениями одного и того же слова. Под его монотонное пиликание невольно слипались глаза и голова сама собой опускалась на грудь, особенно если урок происходил после завтрака. Воспитанники его не любили, несмотря даже на его легендарную силу, которая в гимназии ценилась выше всех даров, ниспосылаемых Небом человеку. В нем чувствовался лицемер. Он ставил хорошие отметки, но часто жаловался на воспитанников инспектору. Кроме того, он «за всякую малость» записывал провинившихся в классный журнал, что исполнял каллиграфическим почерком, очень многословно и витиевато. Однажды он записал Буланина за «кощунство, свиноподобие и строптивость». Свиноподобие заключалось в невычищенных сапогах, строптивость – в незнании урока, а кощунство – в том, что кто-то из отделения назвал Пещерского «Козлом», – кто именно, осталось неизвестным.

На этот раз урок казался Буланину особенно длинным. Только что приобретенный фонарь не давал ему покоя.

«А что будет, если мама не даст двух рублей? Тогда уже наверное одними маслянками не отделаешься, – размышлял

Буланин. – Да наконец, как я решусь сказать ей о своей покупке? Конечно, она огорчится. Она и без того часто говорит, что средства у нас уменьшаются, что имение ничего не приносит, что одной пенсии не хватает на такую большую семью, что надо беречь каждую копейку и так далее. Нет, уж лучше послушаться совета Сельского и отвязаться от этого проклятого фонаря».

Но вдруг, точно искра, блеснуло в голове Буланина тревожное опасение, и даже сердце у него заекало от испуга... А что, если его испортили, передавая из рук в руки? Вдруг растащили картинку или погнули что-нибудь? Тогда Грузов обратно ни за что уже не примет...

Он поспешно, дрожащими руками поднял крышку своего столика и, поддерживая ее головой, стал осматривать фонарь.

Нет, все в порядке... Трубка немного расходится по спаяю, но это так и было... все слышали, на все отделение можно сослаться... И картинка все в целости – двенадцать штук... Вот еще лампочку надо осмотреть.

– Что это вы там у себя в столике делаете? – вдруг услышал Буланин тоненький голос Пещерского.

Он вздрогнул и быстро опустил крышку. Козел медленно подходил к нему с самым ласковым выражением лица, то собирая в кулак свою густую бороду, то распуская ее веером.

– Я... я... ничего... Я ничего не делаю... право, ничего, – залепетал Буланин.

– Что у вас там?.. Покажите, – сказал Козел, делая внезапно строгие и мутные глаза и кивком головы указывая на парту.

– Право же, ничего, батюшка! Ей-богу, ничего... Я просто... я книжку искал.

Бормоча эти несвязные слова, Буланин крепко держался за края крышки, но Козел с настойчивым, хотя и мягким усилием потянул ее вверх и вытащил волшебный фонарь.

– Так это вы говорите – ничего? А еще божитесь! Божиться вообще нехорошо, а для прикрытия лжи и подавно... Я вам здесь слово Божие объясняю, а вы в игрушечки играетесь. Нехорошо. Очень нехорошо... Очень, очень нехорошо.

– Батюшка, позвольте... отдайте... Батюшка, я никогда не буду больше... Отдайте, пожалуйста, – взмолился Буланин.

– Сын мой, – произнес Козел, делая вдруг свой голос необыкновенно нежным, и его влажные глаза опять стали кроткими, – сын мой, я с удовольствием отдал бы вам вашу... вашу штуку... она мне ни на что не нужна, но... – на этом «но» Козел повысил голос и прижал ладони к груди, – но, подумайте сами, имею ли я право это сделать? Могу ли я скрывать ваши дурные поступки от лиц, коим непосредственно вверено ваше воспитание? Нет! – Он широким жестом развел руки и с негодованием затряс бородой. – Я не могу принять этого на свою совесть, положительно не могу... нет, нет, и не просите... не могу-с...

В зале резко и весело прозвучала труба, играющая отбой². Воспитанники высыпали из всех четырех отделений шумной, беспорядочной гурьбой. В течение десяти минут «переменки», полагавшейся между двумя уроками, надо было успеть и напиться, и покурить, и сыграть целую партию в пуговки, и подзубрить урок. Густая толпа обступила большую медную, с тремя кранами вазу, наполненную водой. Около этой вазы всегда была привязана на цепи тяжелая оловянная кружка, но ею обыкновенно никто не пользовался. Каждый нагибался к одному из кранов, брал его в рот и, напившись таким образом, уступал свое место следующему. Второклассники, наполнив «капернаум» и разбившись там на кучки, курили под прикрытием сторожа, поставленного у дверей.

Буланин не выходил из отделения. Он стоял у окна, заделанного решеткой, и рассеянно, с стесненным сердцем глядел на огромное военное поле, едва покрытое скудной желтой травой, и на дальнюю рощу, видневшуюся неясной полосой сквозь серую пелену августовского дождя. Вдруг кто-то закричал в дверях:

- Буланин! Здесь нет Буланина?
- Здесь. Что нужно? – обернулся тот.
- Ступай скорее в дежурную. Петух зовет.
- Батюшка пожаловался?

² Перед каждым уроком горнист или барабанщик играл сбор, а после урока отбой. – *Примеч. авт.*

– Не знаю. Должно быть. Они между собой что-то разговаривают. Иди скорее!

Когда Буланин явился в дежурную, то Петух и Козел одновременно встретили его, покачивая головами: Петух кивал головой сверху вниз и довольно быстро, что придавало его жестам укоризненный и недовольный оттенок, а Козел покачивал слева направо и очень медленно, с выражением грустного сожаления. Эта мимическая сцена продолжалась минуты две или три. Буланин стоял, переводя глаза с одного на другого.

– Стыдно-с... совестно... Мне за вас совестно, – заговорил наконец Петух. – Так-то вы начинаете учение? На уроке Закона Божия вы... как бы сказать... развлекаетесь... игрушечками занимаетесь. Вместо того чтобы ловить каждое слово и... как бы сказать... запечатлевать его в уме, вы предаетесь пагубным забавам... Что же будет с вами дальше, если вы уже теперь... э... как бы сказать... так небрежно относитесь к вашим обязанностям?

– Нехорошо... Очень плохо, – подтвердил Козел, упирая на «о».

«Не пустит в отпуск», – решил в уме Буланин, и Петух, как бы угадывая его мысль, продолжал:

– Собственно говоря, я вас должен без отпуска оставить...

– Господи-ин капитан! – жалобно протянул Буланин.

– То-то вот – господин капитан. На первый раз я уж, так и быть, не стану лишать вас отпуска... Но если еще раз что-

либо подобное, помните, в журнал запишу-с, взыскание наложу-с, под арест посажу-с... Ступайте!..

– Господи-ин капитан, позвольте мой фонарь.

– Нет-с. Фонаря вы более не получите. Сейчас же я прикажу дядьке его сломать и бросить в помойную яму. Идите.

– Я-к Як-лич, пожалуйста... – просил Буланин со слезами в голосе.

– Нет-с и нет-с. Идите. Или вы желаете (тут Петух сделал голос строже), чтобы я действительно... как бы сказать... оставил вас на праздник в гимназии? Ступайте-с.

Буланин ушел. Справедливость требует сказать, что Петух не сдержал своего слова относительно фонаря. Четыре года спустя Буланину по какому-то делу пришлось зайти на квартиру Якова Яковлевича. Там, в углу гостиной, была свалена целая горка игрушек, принадлежащих маленькому Карлуше – единственному чаду Петуха, – и среди них Буланин без труда узнал свой злополучный фонарь. Он содержался в образцовом порядке и, по-видимому, мог рассчитывать на почтенную долговечность в бережливом немецком семействе. Но сколько горьких, ужасных впечатлений вызвал тогда в отроческой памяти Буланина вид этого невинного предмета!..

Шестой урок в этот день был настоящей пыткой для новичков. Они совершенно не могли усидеть на месте, поминутно вертелись и то и дело с страстным ожиданием оглядывались на дверь. Глаза взволнованно блестели, пальцы одной руки нервно мяли пальцы другой, ноги под столом выбивали

нетерпеливую дробь. Со всех сторон вопрошающие лица обращались к лопухому Страхову, сидевшему на задней скамейке (у него одного во всем отделении были часы, вообще запрещенные в гимназии), и Страхов, подымая вверх растопыренные пятерни и махая ими, показывал, сколько еще минут осталось до трех часов.

Общее волнение до такой степени сообщилось Буланину, что он даже позабыл о несчастном фонаре и о связанных с ним грядущих неприятностях. Он, так же как и другие, суетливо болтал ногами, тискал ладонями лицо и судорожно ерошил на голове волосы, чувствуя, как у него в груди замирает что-то такое сладкое и немного жуткое, от чего хочется потянуться или запеть во все горло.

Но вот раздаются звуки отбоя, и все вскакивают с мест, точно подброшенные электрическим током. Как бы ни был строг и педантичен преподаватель, как бы ни был важен объясняемый им урок, у него не хватит духу испытывать в эту минуту выдержку учеников. «Благодарим тебе, Создателью», – читает на ходу, с трудом пробираясь между скамейками, Сельский, но никому даже и в голову не придет перекреститься... С хлопаньем открываются и закрываются попитры, увязываются веревками книги и тетради, которые нужно взять с собою, а ненужные как попало швыряются и втискиваются в ящик.

Молитва кончена. Двадцать человек летят сломя голову к дверям, едва не сбивая с ног преподавателя, который с снис-

ходительной, но несколько боязливой улыбкой жметя к стене. Из всех четырех отделений одновременно вырываются эти живые, неудержимые потоки, сливаются, перемешиваются, и сотня мальчишек мчится, как стадо молодых здоровых животных, выпущенных из тесных клеток на волю...

Прибежать в спальню, надеть мундир, шинель и кепи, разложенные Четухой заранее по кроватям отпускных, – дело одной минуты. Теперь остается пойти в «дежурную», где уже сидят все четыре воспитателя, и «явиться» Петуху.

– Господин капитан, честь имею...

– А почему у вас пуговицы не почищены?

Ах, эти проклятые пуговицы! Опять нужно бежать в спальню, оттуда в умывалку. Там на доске всегда лежат два больших красных кирпича.

Буланин быстро и крепко трет их один о другой, потом обмакивает мякоть ладони в порошок и так торопливо чистит пуговицы, что обжигает на руке кожу. Большой палец делается черным от меди и кирпича, но мыться некогда, можно и после успеть...

– Господин капитан, честь имею явиться... Воспитанник первого класса, второго отделения, Бу...

– А-а! Почистились? Хорошо-с. А за вами пришли или прислали кого-нибудь?

О господи, опять ожидания – вот мука!

В чайную залу, примыкающую к дежурной, то и дело выходят снизу из приемной дядьки и громогласно вызывают

воспитанников:

– Свергин, Егоров, пожалуйста, за вами приехали; Бахтинский – в приемную!

«Неужели обо мне забыли дома? – шепчет в тревоге Буланин, но тотчас же пугается своей мысли. – Нет, нет, этого быть не может: мама знает, мама сама соскучилась... Ну вот, идет снова дядька... Теперь уж наверно меня».

Сердце Буланина от ожидания бьется в груди до боли.

– За Лампарёвым приехали, – возвещает дядька равнодушным голосом, и это равнодушие кажется Буланину оскорбительным, почти умышленным.

«Это он нарочно так... видит ведь, как мне неприятно, и нарочно делает».

Наконец нервное напряжение начинает ослабевать. Его заменяют усталость и скука. В шинели становится жарко, воротник давит шею, крючки режут горло... Хочется сесть и сидеть, не поворачивая головы, точно на вокзале.

«Все кончено, все кончено, – с горечью думает Буланин, – я самый несчастный мальчик в мире, всеми забытый и никому не нужный...»

Досадные слезы просятся на глаза. Дядька выкликавает все новые и новые фамилии, но появление его уже не вызывает нетерпеливого подъема всех чувств: Буланин смотрит на него мутными, неподвижными и злобными глазами.

И вот – как это всегда бывает, если ждешь чего-нибудь особенно страстно, – в ту самую минуту, когда Буланин уже

собирается идти в спальню, чтобы снять отпускную форму, когда в его душе подымается тяжелая, удручающая злость против всего мира: против Петуха, против Грузова, против батюшки, даже против матери, – в эту самую минуту дядька, от которого Буланин нарочно отворачивается, кричит на всю залу:

– За Буланиным приехали! Просят поскорее одеваться!

И уж на этот раз голос дядьки кажется Буланину не умышленно равнодушным, а веселым, сочувственным, даже радостным.

IV

Триумф Буланина. – Герои гимназии. – Пари. – Мальчишка-сапожник. – Честь. – Опять герои. – Фотография. – Уныние. – Несколько нежных сцен. – На шаран! – Куча мала! – «Возмездие». – Попрошайки

Отпуск был великолепен. Кепи, надетое набекрень, и черная военная шинель внакидку привлекали на улице всеобщее внимание. Все, положительно все: и те, что ехали на извозчиках, и пешеходы, и пассажиры конок – с почтительным любопытством и радостным изумлением глядели на Буланина (во всяком случае, ему так казалось). В их взглядах он каждый раз читал безмолвное восклицание: «Посмотрите, посмотрите – военный гимназист!.. Удивительно, такой молодой и уже носит военный мундир. Ведь у них, говорят, ужасная строгость, и даже учат маршировать с настоящими ружьями».

Дома, перед младшей сестрой, а в особенности перед восьмилетним Васенькой, Буланин старательно выдерживал внешнее достоинство и несколько суровый тон молодчищи-старичка.

Когда Васенька, прельщенный видом золотых галунов, хотел их потрогать немного пальцем, старший брат заметил ему недовольным басом:

– Отстань! Чего лезешь? Испортишь мундир, а мне после достанется. «Каптенармус» нового ни за что не выдаст.

Эти новые технические слова, вроде как «каптенармус», «ранжир», «правый фланг», «горнист» и тому подобные, он особенно часто, иной раз без всякого повода, но с очень небрежным видом вставлял в свой разговор, чем Зина и Васенька были окончательно подавлены. Он рассказал им также и про Грузова, и про его изумительную силу (ведь вечер воскресенья был еще так далеко!), и понятно, что в доверчивых, порабощенных умах слушателей фигура Грузова приняла размеры какого-то мифического чудовища, чего-то вроде Соловья-разбойника, с «такими вот» – чуть ли не с человеческую голову величиной – кулаками.

– Это что еще! – продолжал Буланин удивлять свою маленькую аудиторию, и без того вытаращившую глазенки и разинувшую рты. – Это еще что-о! А вот у нас есть воспитанник Солянка, – его, собственно, фамилия Красногорский, но у нас его прозвали Солянка, – так он однажды на пари съел десять булок. Понимаете ли, малыши: десять французских булок! И ничем не запивал! А?

– Десять булок! – повторили шепотом малыши и переглянулись почти в ужасе.

– Да, и выиграл пари. А другой – Трофимов – поспорил на двадцать завтраков, что он три недели ничего не будет есть... И не ел... Ни одного кусочка не ел.

Буланин, в сущности, только лишь слегка преувеличивал

цифры в своих поразительных рассказах. Подобные пари были в гимназической жизни явлением обычным и предпринимались исключительно из молодечества. Один спорил, что он в течение двух дней напишет все числа от 1 до 1 000 000, другой брался выкурить подряд, и непременно затягиваясь всей грудью, пятнадцать папирос, третий ел сырую рыбу или улиток и пил чернила, четвертый хвастал, что продержит руку над лампой, пока досчитают до тридцати... Порождались эти пари мертвящей скукой будничных дней, отсутствием книг и развлечений, а также полнейшим равнодушием воспитателей к тому, чем заняты вверенные их надзору молодые умы. Спорили обыкновенно на десятки, иногда даже на сотни утренних и вечерних булок, на котлеты, на третье блюдо, реже на гостинцы и деньги. За исходом такого пари весь возраст следил с живейшим интересом и не позволял мошенничать.

Мать Буланина была в полном упоении – в том святом и эгоистическом упоении, которое овладевает всякой матерью, когда она впервые видит своего сына в какой бы то ни было форме, и к которому примешивается доля горделивого и недоверчивого удивления. «Как? Это *мой* сын? – говорит каждый их красноречивый взгляд. – Это-то и есть то самое странное существо, что когда-то жадно сосало мою грудь и прыгало босыми ножонками на моих коленях? И неужели именно *его* я вижу теперь одетым в форму, почти членом общества, почти мужчиной?»

– Ах ты, мой кадет! Ах ты, кадетик мой милый! – поминутно говорила Аглая Федоровна, крепко прижимая голову сына к своей груди.

При этом она даже закрывала глаза и стискивала зубы, охваченная той самой внезапной, порывистой страстью, которая неудержимо заставляет молодых матерей так ожесточенно целовать, тискать, душить, почти кусать своих новорожденных ребят.

А Буланин сурово мотал головой и отпихивался.

В воскресенье утром она повезла его в институт, где учились ее старшие дочери, потом к теткам на Дворянскую улицу, потом к своей пансионской подруге, m-me Гирчич. Буланина называли «его превосходительством», «воином», «героем» и «будущим Скобелевым». Он же краснел от удовольствия и стыда и с грубой поспешностью вырывался из родственных объятий.

Точно так же, как и вчера, все, кого только Буланин ни встречал на улицах, были приятно поражены видом новоиспеченного гимназиста. Буланин ни на секунду не усомнился в том, что весь мир занят теперь исключительно ликованием по поводу его поступления в гимназию. И только однажды это триумфаторское шествие было несколько смущено, когда на повороте в какую-то улицу из ворот большого дома выскочил перепачканный сажей мальчишка-сапожник с колodками под мышкой и, промчавшись стрелой между Буланиным и его матерью, заорал на всю улицу:

– Кадет, кадет, на палочку надет!..

Погнаться за ним было невозможно – гимназисту на улице приличествует «солидность» и серьезные манеры, – иначе дерзкий, без сомнения, получил бы жестокое возмездие. Впрочем, самолюбие Буланина тотчас же получило приятное удовлетворение, потому что мимо проезжал генерал. Этого случая Буланин жаждал всей душой: ему еще ни разу до сих пор не довелось стать во фрунт.

Он с истинным наслаждением занимался отдаванием чести. Не за четыре законных, а по крайней мере за пятнадцать шагов он прикладывал руку к козырьку, высоко задирая кверху локоть, и тарачил на офицера сияющие глаза, в которых ясно можно было прочесть испуг, радость и нетерпеливое ожидание. Каждый раз, проделав эту церемонию и получив в ответ от улыбающегося офицера масонский знак, Буланин слегка лишь косился на мать, а сам принимал такой деловой, озабоченный, даже как будто бы усталый вид, точно он только что окончил весьма трудную и сложную, хотя и привычную обязанность, не понятную для посторонних, но требующую от исполнителя особенных глубоких знаний. И так как он был совсем еще неопытен в разбирании погонов и петличек, то с одинаковым удовольствием отдавал честь и фельдфебелям, и акцизным чиновникам, а один раз даже козырнул казачьему денщику, несшему судки с офицерским обедом, на что денщик тотчас же ответил без малейшего знака смущения, но чрезвычайно вежливо, переложив судки из

правой руки в левую.

Случилось так, что мать дернула его за рукав и тревожно шепнула:

– Миша, Миша, смотри, ты прозевал офицера (она испытывала при этих встречах совершенно те же наивные, гордые и приятные ощущения, как и ее сын).

Буланин отозвался презрительным басом:

– Ну вот! Стоит о всяком офицеришке заботиться. Наверно, только что произведенный.

Он, конечно, слегка важничал перед матерью, бравируя своей смелостью и просто-напросто повторяя грубоватое выражение, слышанное им от старых гимназистов. У старичков, особенно у «отчаянных», считалось особенным шиком не отдать офицеру чести, даже, если можно, сопроводить этот поступок какой-нибудь дикой выходкой.

– Как я его здорово надул! – рассказывал часто какой-нибудь Грузов или Балкашин. – Прохожу мимо – нуль внимания и фунт презрения. Он мне кричит: «Господин гимназист, пожалуйста сюда». А я думаю себе: «На-ка-сь, выкуси». Ходу! Он за мной. Я от него. Он вскакивает на извозчика. «Ну, думаю: дело мое – табак, поймает». Вдруг вижу сквозные ворота, моментально – шмыг! и калитку на запор... Покамест он стоял там да ругался, да дворника звал, я давно уж удрать успел.

В тот же день Аглая Федоровна повела сына в фотографию. Нечего и говорить о том, что фотограф был несказан-

но поражен и обрадован честью сделать снимок с такого великолепного гимназиста. После долгих совещаний решили снять Буланина во весь рост: правой рукой он должен опираться на колонну, а в левой, опущенной вниз, держать кепи. Во все время сеанса Буланин был полон неподражаемой важности, хотя справедливость требует отметить тот факт, что впоследствии, когда фотография была окончательно готова, то все двенадцать карточек могли служить наглядным доказательством того, что великолепный гимназист и будущий Скобелев не умел еще как следует застегнуть своих панталон.

За обедом были исключительно блюда, любимые Мишенькой, но виновник торжества, казалось, навеки потерял свой доселе непобедимый аппетит... Он уже чувствовал, что мало-помалу приближается конец отпуска, и перед ним вставало арестантское лицо Грузова – клыкастое, желтое и грубое, его энергично сжатый кулак и зловещая угроза, произнесенная сильным голосом:

– А то... у нас знаешь как!..

По мере того как стрелка стенных часов приближалась к семи, возрастала тоска Буланина, прямо какая-то животная тоска – неопределенная, боязливая, низменная и томительная. После обеда Зина села за рояль, разучивать свои экзерсисы. Из-под ее неуверенных пальчиков потянулись, бесконечно повторяясь все снова и снова, скучные гаммы. Мутные сумерки вползли в окна и сгустились по дальним углам...

Нервы Буланина не выдержали, и он, забыв все свое утреннее мужество, горько заплакал, уткнувшись лицом в жесткую и холодную спинку кожаного дивана.

– Миша, отчего ты? Что с тобой, Мишенька? – спросила, подбежав к нему, встревоженная Аглая Федоровна.

Момент был очень благоприятный, и Буланин это чувствовал. Теперь бы и следовало рассказать откровенно все приключения с волшебным фонарем, но странная стыдливая робость сковала его язык, и он только пробормотал, взяв носом:

– Так себе... мне тебя жалко, мамочка...

В половине седьмого он и Аглая Федоровна стали собираться. В старую салфетку были завязаны гостинцы: десяток яблоков, несколько домашних сдобных лепешек и банка малинового варенья.

– Смотри, Миша, – внушала мать, – варенье понемножку кушай... с чаем... вот тебе и хватит на целую неделю... Товарищам дай по ложечке, пусть и они попробуют...

Затем она вписала в готовом тексте отпускного билета, что «кадет... *Буланин*... в течение отпуска находился... у меня и вел себя... *очень хорошо*... Подпись родителей или лиц, их заменяющих... *А. Буланина*».

Ехать пришлось через весь город. И мать, и сын дорогой молчали, охваченные одним и тем же чувством уныния. Чем ближе они подъезжали к гимназии, тем пустынное становилась местность... Уже совершенно стемнело, когда они пере-

ехали через каменный мост, под которым узкой лентой изви- валась зловонная речка; в ней дрожали, расплываясь, отра- жения уличных фонарей. Потом по обеим сторонам мосто- вой потянулись длинные, низкие, однообразные казармы с неосвещенными окнами. Вот наконец и огромное трехэтаж- ное здание гимназии, бывший кадетский корпус, а еще рань- ше – дворец екатерининского вельможи. Дальше уже нет ни одной городской постройки, кроме военной тюрьмы; ее огни едва мерцают далеко-далеко на краю военного поля, которое теперь кажется чернее ночи.

У крыльца Аглая Федоровна долго крестила и целовала сына. Но так как к тому же подъезду ежеминутно подъезжали и подходили отпускные гимназисты, то в Буланине вдруг за- говорил ложный стыд: сцена могла показаться чересчур неж- ной, может быть, даже смешной, во всяком случае не в ду- хе гимназического молодечества. Весь проникнутый жалост- ливой любовью к матери и болью своего близкого одиноче- ства, он тем не менее сурово, почти грубо освободил шею от ее рук. Когда же она вдогонку ему крикнула, чтобы он был прилежней, слушался воспитателей и «в случае чего-ни- будь» немедленно писал (на что ему были уже даны конвер- ты с заранее написанными адресами и с приклеенными мар- ками), он, скрываясь в дверях, буркнул:

– Хорошо... Ладно, ладно...

Но он все-таки успел заметить, как мать крестила его вслед мелкими, частыми крестами.

Он медленно взбирался на третий этаж по грязной чугунной сквозной лестнице, слабо освещенной стенными лампами, и ему казалось, что он вдруг осиротел, сделался снова маленьким, беспомощным мальчиком. Все его мысли были там, внизу, около покинутой им матери.

«Вот она села в пролетку, вот извозчик круто заворачивает лошадь назад, вот, подъезжая к углу, мама бросает последний взгляд на подъезд», – думал Буланин, глотая слезы, и все-таки ступенька за ступенькой подымался вверх.

Но на верхней площадке его тоска возросла до такой нестерпимой боли, что он вдруг, сам не сознавая, что делает, опрометью побежал вниз. В одну минуту он уже был на крыльце. Он ни на что не надеялся, ни о чем не думал, но он вовсе не удивился, а только странно обрадовался, когда увидел свою мать на том же самом месте, где за несколько минут ее оставил. И на этот раз мать должна была первой освободиться из лихорадочных объятий сына.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.